

ЖУРНАЛЬНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ

Публикация М. Л. Семановой

ЦИКЛ ФЕЛЬЕТОНОВ ДЛЯ «СОВРЕМЕННОКА» (1863)

В апрельской книжке «Современника» 1863 г. Слепцов начал печатать (без подписи) цикл фельетонов «Петербургские заметки». Он поместил в этой книжке «Вступление» и первый фельетон «Весенняя прогулка с детьми по санктпетербургским улицам». Продолжение последовало в июньской книжке журнала. Под общим цикловым заглавием здесь была опубликована сцена «На параде». Однако эта сцена, как удалось сейчас установить, является лишь одной из трех частей (а именно второй) подготовленного для июньской книжки продолжения «Петербургских заметок».

В архиве А. Н. Пыпина (ИРЛИ) сохранился полный текст всех трех частей продолжения. Состав и последовательность их таковы: 1. Обширное рассуждение без заглавия, начинающееся словами: «Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» 2. Сцена «На параде» и 3. «Отрывок из дневника». На полях гранок имеется помета: 26 июня 1863 г. Это — дата цензурного разрешения шестого номера «Современника» и вместе с тем дата изъятия из него первой и третьей названных частей продолжения цикла.

Начало «Петербургских заметок», опубликованное в апрельской книжке «Современника», было воспроизведено К. И. Чуковским во втором томе собрания сочинений Слепцова 1957 г. Полностью весь дошедший до нас материал разрушенного цензурой цикла появляется в настоящем томе впервые. В настоящей публикации печатаются «Вступление» и три первых фельетона. Последний же фельетон — «Отрывок из дневника» помещен отдельно, в следующем разделе (стр. 333—338). Фельетон этот Слепцов в 1864 г. значительно дополнил и хотел напечатать его самостоятельно, вне связи с распавшимся циклом.

Замысел «Петербургских заметок» возник в обстановке ожесточенного натиска реакции. «Искусно пользуясь целой системой недомолвок, иносказаний, намеков, — пишет К. И. Чуковский, — он [Слепцов] умудряется в когтях у цензуры заклеить антинародную политику Александра II»; Слепцов высказывает «глубочайшее презрение ко всем либеральным реформам правительства», о которых «казенная пресса назойливо и громко продолжала трубить как о гуманнейших деяниях царя»; он намекает читателю на близкий конец либеральных преобразований, на борьбу правительства с революционным движением. Исследователь квалифицирует далее «Петербургские заметки» как документ, свидетельствующий о «таланте публициста, прекрасно усвоившего эзопову речь», о зрелости «политической мысли» писателя, «умении владеть гибкой тактикой революционной борьбы», которую выработали деятели «Современника» (I, 14—16). Эти выводы, сделанные К. И. Чуковским на основе знакомства лишь с началом «Петербургских заметок», сохраняют свое значение и в настоящее время, когда в нашем распоряжении имеется столь значительное для понимания замысла писателя продолжение этого цикла. Но, разумеется, новые материалы дают возможность дополнить наблюдения исследователя над содержанием «Петербургских заметок» и особенностями слепцовского иносказания.

Слепцов задумал «Петербургские заметки» как цикл фельетонов, в которых, по его словам, должны были найти свое место «случаи какие-нибудь, сцены, краткие

размышления» (II, 332). Фрагментарность, разнородность материала, чередование теоретических рассуждений с художественными зарисовками, пейзажными и бытовыми описаниями и сценами подсказаны не только особенностями жанра публицистического обозрения. Это вместе с тем и особая форма эзоповой манеры писателя. Такая «разорванная» организация политически острого материала была рассчитана на «читателя-друга» и единомышленника, способного улавливать внутреннюю связь между отдельными частями и эпизодами цикла и самостоятельно приходить к тем выводам, к которым хотел привести его автор.

Изложение в «Петербургских заметках» ведется то от первого лица — «я» рассказчика («Вступление», «Весенняя прогулка...», «Отрывок из дневника»), то от третьего лица. Соответственно этому Слепцов то субъективно окрашивает изображаемое, высказывая свои суждения, свое эмоциональное отношение, то объективно излагает факты, явления, не давая им прямых оценок («На параде»), то, наконец, выступает с теоретическими рассуждениями и обобщениями.

Разными способами писатель стремится достичь одной цели — воспроизвести главный конфликт эпохи, столкновение двух борющихся сил в русской действительности. При этом образ «молодой России» не дан, а лишь «задан». Он возникает в сознании читателя как невольное противопоставление образу «старой России», воплощенному в климатическом, социально-политическом и архитектурно-бытовом облике столицы Российской империи. Слепцов прибегает в данном случае к устоявшемуся в демократической литературе инсказанию. *Петербург* олицетворял казенную Россию, самодержавно-полицейское государство; *душная атмосфера* — атмосферу деспотизма; петербургская *ненастная погода* — политическое «ненастье» реакции (см. «Ненастный день», стр. 64—67 настоящего тома). В то время, когда либеральная пресса постоянно прибегала к радужным «весенним» тонам, Слепцов сознательно стучал темные краски, создавал тусклый, серый, «туманный» колорит: «...погода успела уж испортиться. Поглядите, на небе тучи, накрапывает дождь, что-то серое затянуло всё: и дома, и людей, и впереди ничего не видно, один туман» («Весенняя прогулка...»). «Погода была холодная; ветер со свистом носился по Летнему саду; набегали тучи» («На параде»). «Бледное, серое утро (<...> серая громада домов, накрытая сверху серыми тучами» («Отрывок из дневника»).

Эти строки «Петербургских заметок» напоминают читателям и перифразы Добролюбова («сырая и туманная атмосфера нашей жизни»¹) и описания «погоды дурной» Некрасова:

Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой...
Надо всем распростерся туман.
Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
Некрасив в эту пору наш город большой,
Как изношенный фат без румян².

Слепцову близка задача Некрасова, также совершающего «прогулку» по Петербургу, — показать «во всей нагой красоте» столицу Российской империи. Роль эпиграфа, который Некрасов предпослал циклу своих сатир «О погоде»:

Что за славная столица
Развеселый Петербург!

Лакейская песня —

выполняет у Слепцова «Вступление», в котором писатель назвал Петербург «управой благочиния», напомнил читателю о Сенате и Синоде (высших правительственных органах самодержавной власти), а затем иронически показал Петербург, как «больших размеров увеселительное заведение», «место утех и ликований»³. Политическое содержание этого образа было понятно современникам, с горечью замечавшим, что Петербург Чернышевского стал Петербургом кафе-штантанов. Писатель рассчитывал на то, что слова: «спектакль», «представление», «праздник», «бенгальское освещение» — вызовут у оппозиционно настроенного читателя ассоциацию с либеральной политикой «верхов», с продолжавшейся в официальной и либеральной печати шумихой вокруг

реформ. Для слов «реформы», «преобразования» Слепцов также находит несколько иронических «синонимов»: «рог изобилия», «сюрпризы», «премии», «приманки», «афиши», «объявления».

К. И. Чуковский правильно расшифровал слова: «дела распорядителя праздника очень порасстроились и требуют поправки» — как намек на непрочное положение правительства Александра II, стремящегося путем реформ предотвратить опасность революционного взрыва. Но, думается, что, говоря об «артистах», «фокусниках», «чародеях», «трубачах» и т. д., Слепцов имел в виду не только министров Валуева и Головнина, а всех тех, кто проводил и охранял правительственную политику: высших чиновников, полицейских, общественных и литературных деятелей консервативно-реакционного лагеря и проч. Остроумен, например, намек на представителей высшего органа политической полиции: «трубачи протрубят все свои три отделения» (ср. у Герцена: «петь по органчику III Отделения»⁴).

Слепцов характеризует во «Вступлении» различные тенденции в обществе: одни — «легкомысленные посетители», люди привилегированные, праздные, не рассуждая, приемлют все «развлечения»; другие — извлекают собственную выгоду, преследуют практические цели; наконец, третьи — «благоразумные посетители», мыслящая часть общества, демократическая интеллигенция, весьма трезво, критически оценивают современную действительность. «Благоразумные посетители» сродни «благоразумному человеку» в романе Чернышевского «Что делать?» (см. теоретический разговор Лопухова и Кирсанова). Автор и себя относит к их числу, он создает впечатление об их многочисленности, употребляя часто местоимение «мы».

«Благоразумный посетитель» совершает «весеннюю прогулку с детьми по санкт-петербургским улицам», в финале «Вступления» он определяет цель этой «прогулки»: разоблачить в глазах «детей» (молодого поколения, демократов-разночинцев) тех, кто наслаждается празднеством или получает от него выгоду (т. е. поддерживает установившийся социальный порядок), разоблачить «ворующего и прелюбых творящего, лгущего, доносящего...», оберечь от его влияния «детей», увести их на другую жизненную дорогу — дорогу освободительной борьбы.

Автор выражает полное доверие к разуму, чувству *детей*: «Мне будет легко говорить с вами, потому что вы понимаете многое гораздо лучше, нежели, как думают ваши родители». Этим своеобразно мотивируется в главе «Весенняя прогулка...» сама форма повествования. Речь автора обращена к сочувствующим ему людям, поэтому многое можно не досказывать; достаточно намека, чтоб быть понятым ими.

Раскроем некоторые из этих намеков.

Картина весны и образ городского, следящего за «порядком», — это намек на реформы, осуществляющиеся под контролем не общества, а полицейской власти. Автор не сообщает «маршрута» прогулки с детьми, он не перечисляет названий улиц, мостов, зданий, но приведением ряда деталей дает понять, что «благоразумный посетитель» ведет детей по Невскому проспекту («многолюдная улица» со множеством экипажей и магазинов) и заканчивает прогулку на Адмиралтейской площади («завернем на площадь, где гуляет народ»). Не уточняя мест прогулки, предоставляя простор воображению читателя, автор вызывает своими замечаниями о петербургском архитектурном «пейзаже» определенные социально-политические ассоциации. Слепцов говорит, например, «детям»: «...обратите внимание на этот мост, и заметьте, как он искусно сделан. Однако многие его не хвалят, а почему не хвалят — вы и об этом узнаете впоследствии». Что это за мост? И почему его не хвалят? Не оменно, это Цепной мост через Фонтанку; рядом с ним находилась печально знаменитая канцелярия III Отделения.

Вслед за иносказанием о Цепном мосте естественно следуют намеки на армию шпионов и сыщиков («здесь так много любопытных»). Они ловят недозволенные слова, мысли, настроения и сообщают о своих наблюдениях «папаше» (полицейскому начальству): «Такой-то сказал: „Славная борода у Гарибальди“» (здесь намек на следующий эпизод: в витрине известного магазина эстампов Дациаро, на Невском, был выставлен портрет Гарибальди, но без обозначения его имени; по требованию властей портрет был вскоре убран). «А папаша скажет: „Не пускать его гулять за это! Пусть сидит“» (т. е. сидит в тюрьме). Детям не дают читать книжки, в которых сказано: «вы бы пошли

поиграли», так как «большие боятся, чтобы дети не зашалили», т. е. не были бы вовлечены в революционно-освободительную борьбу.

Упоминание магазина, где продают запрещенные книжки, могло быть рассчитано на ассоциацию с известным книжным магазином и библиотекой братьев Серно-Соловьевичей — одним из мест, где встречались землевольцы и где 7 июня 1862 г. был арестован Николай Серно-Соловьевич.

Слепцов заканчивает «прогулку с детьми» «на площади, где гуляет народ», т. е. на Адмиралтейской площади. Сравнение газетных сообщений о традиционных народных гуляниях на этой площади с зарисовкой Слепцова показывает, что писатель был очень точен в своих описаниях. В фельетоне упомянуты все основные атрибуты этих гуляний шестидесятых годов: представления в балаганах Берга (с арлекином — центральным действующим лицом), «силомеры в виде турок, которых за три копейки можно было бить по басурманским башкам»⁵, качели, карусели, лавочки с лакомствами и водкой и т. д. Но в эту бытовую картину Слепцов вводит ряд политических обобщений: народ одурманивают водкой, кружат ему голову «до дурноты» увеселениями, пробуждают националистические чувства (предлагают колотить турка «потому, что он турок») и тем самым стремятся отвлечь народ от раздумий над своим положением, заглушить в нем недовольство общественными порядками.

Здесь содержится также намек на одну из реформ шестидесятых годов: отмену откупа и установление свободной торговли вином, водкой, что привело к сильному их удешевлению. Положение об отмене откупа было введено 1 января 1863 г. и вызвало очередную волну либерального славословия Александру II: «Царь сдержал свое слово, откуп пал, вино сделалось вдвое дешевле и вдвое лучше», народ «поет и веселится, как никогда не пел и не веселился», — заявлял «Русский инвалид»⁶. «Акциз в глазах народа равняется с освобождением от крепостной зависимости, и есть важнейшее событие наших дней», — провозглашала «Северная почта»⁷. В этих газетах, как и в «Северной пчеле», говорилось, что народные гуляния 1863 г. отличались от предшествующих им масленичных гуляний 1862 г. «неимоверным количеством питей всякого рода»⁸. Пьянство объявлялось невинной забавой народа, находящегося еще в младенчестве: «Народ наш еще дитя, но дитя не испорченное и не избалованное»; «Зелено вино — его любимая игрушка», — писали в том же «Русском инвалиде»⁹.

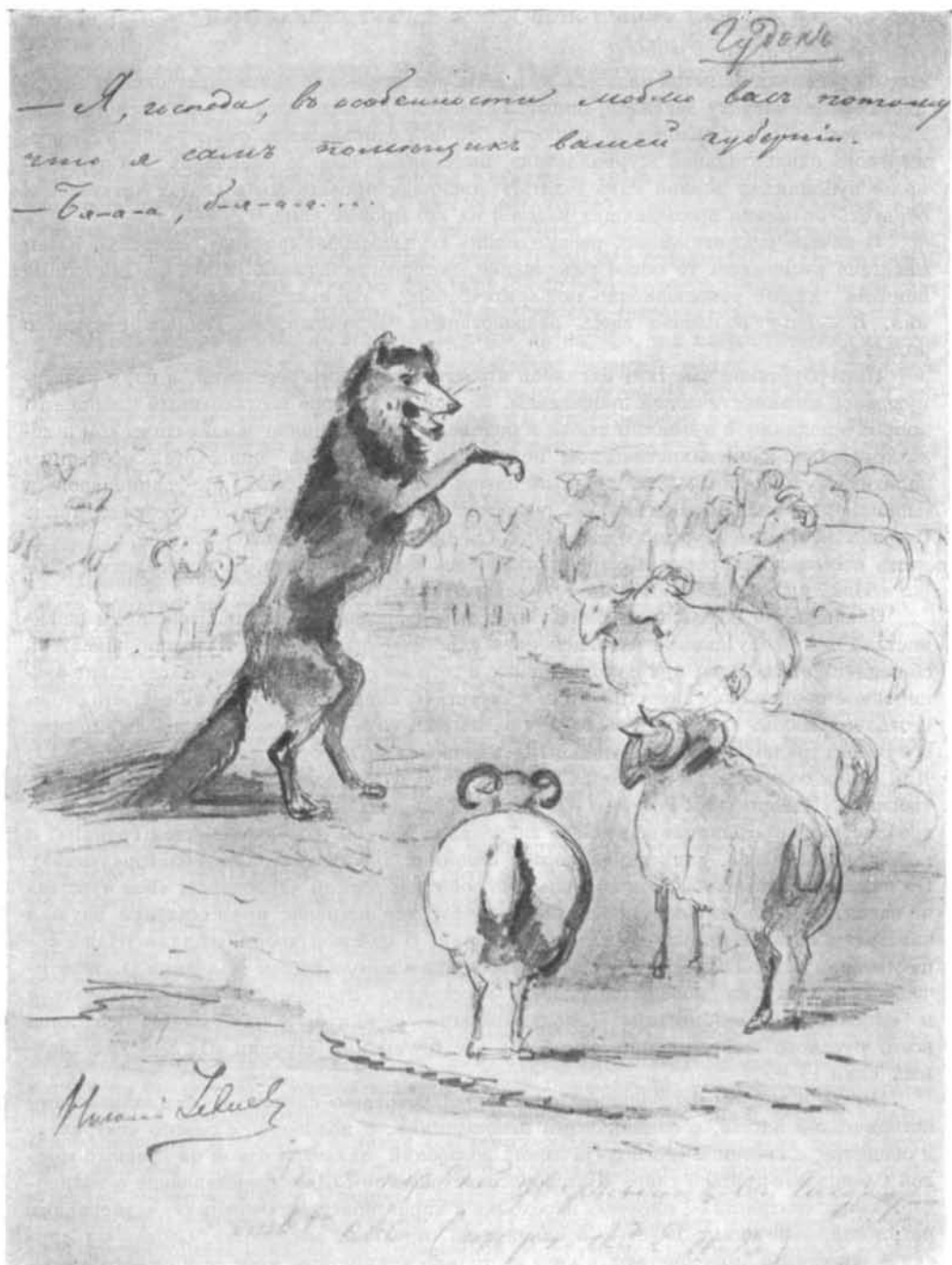
Такие рассуждения Слепцов определял в статье «Попытки народной журналистики» (1863) как «трусливое желание уверить ребенка, что он еще ребенок, что он ничего не понимает» (II, 314). В финале «Весенней прогулки...» чувствуется боль писателя за обманутый народ. Пьяные в его истолковании — «больные люди», пьянство — социальная болезнь.

«Весенняя прогулка...» заканчивается картиной наступления реакции по всему фронту: «что-то серое затянуло все (...) и впереди ничего не видно, один туман». В последних словах фельетона сатирически использована одна из ходовых сентенций охранительного лагеря: каждый должен быть доволен своим жребием.

Автор выполнил свою «программу», намеченную во «Вступлении»: он показал *детям* подлинную жизнь, разоблачил «ворующих», «развратничающих», «доносящих» и богов, которым они «курили фимиам»; он подвел к выводу, что быть счастливым можно только при условии борьбы за свободу народа и, тем самым, свободу личную. О том, что именно так задумывал писатель эту главу «Петербургских заметок», говорит найденный нами в его бумагах листок «Игры детские» (см. стр. 379—380 настоящего тома). Через два года, в середине 1865 г., Слепцов захотел напомнить о «прогулке с детьми» и показать реальные ее результаты. «Дети» выполнили заветы «благоразумного посетителя». Им теперь не страшен уже ни бог («старик»), ни чёрт («трубочист»); не пугает их ни преследование за чтение нелегальной литературы («книжки»), ни тюремные заключения («темные комнаты»).

* * *

Продолжение «Петербургских заметок», предназначенное для июньской книжки «Современника», Слепцов начал теоретическим «рассуждением» на тему «Что может быть возвышеннее любви к отечеству?..» Цензура запретила «рассуждение». Это была



**ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА НА АЛЕКСАНДРА II, РАЗОБЛАЧАЮЩАЯ
КРЕПОСТНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 г.**

Надпись сверху: — Я, господа, в особенности люблю вас, потому что я сам помещик вашей губернии.

— Бя-а-а, бя-а-а...

Снизу, рукой цензора: — Г-да, я первый дворянин в государстве etc.
(из речей «Го» и «мператорского» в«еличества)

Рисунок Н. В. Певлева. Предназначался для журнала «Гудок», 1861—1862 гг

Русский музей, Ленинград

еще одна смелая попытка писателя изложить революционно-демократическую и социалистическую систему взглядов, попытка пропагандировать идеи Чернышевского, заключенного в Петропавловскую крепость. Это был одновременно ответ ученика Чернышевского охранительной журналистике, пытавшейся еще до окончания в «Современнике» публикации романа «Что делать?» дискредитировать его в глазах читателей и обратить внимание предрасположенных властей на это произведение¹⁰.

В начале «теоретического рассуждения» звучат слова: «родина», «жертва». Затем писатель раскрывает то новое содержание, которое вкладывали в эти традиционные понятия люди революционно-демократического, социалистического мировоззрения. В основу положена здесь разработанная Чернышевским «теория разумного эгоизма».

«Петербургские заметки» писались в разгар польского восстания, в пору развернувшейся шовинистической пропаганды. В этой обстановке поставленный Слепцовым вопрос о подлинной и мнимой любви к родине, о революционно-демократическом и великодержавно-националистическом понимании патриотизма приобретал особенную политическую остроту. Реакционный лагерь упрекал русских революционеров в «сплошном отрицании», «нигилизме», представлял их людьми без родины, космополитами. Отвечая им в «Петербургских заметках», Слепцов вспоминает о Лермонтове, чья ненависть к «немытой» России и «странная» любовь к отчизне были, по определению Добролюбова, проявлением «истинного», «святого» патриотизма.

Обвинение в космополитизме Слепцов передразнивает великодержавным шовинистам, чьи необузданные экспансионистские тенденции не знают границ. Писатель сближает в этом случае при помощи одного и того же глагола «простирается» такие разнородные понятия как «пространство» и «чувства», высмеивая тем самым тех, кто отождествляет любовь к родине с желанием расширить ее географические пределы, интерес к чужим странам — с завоевательными намерениями по отношению к этим странам. Для своих обличительных целей Слепцов использует строки из пушкинского стихотворения «Клеветникам России»: «От финских хладных скал...» В тех же целях он употребляет слово «граница» в двух его значениях: прямом (государственная граница) и переносном (предел, допустимая норма: «граница чувства», «граница благоразумия»). Он делает прозрачный намек на польские события: другой «простирает свои чувства» на запад, за «буйную Вислу». Заметим, что тот же комплекс представлений внушал читателям «Современника» и Салтыков-Щедрин. В майской хронике цикла «Наша общественная жизнь» за 1863 г. он свидетельствовал о вынужденном молчании демократической печати по поводу польского восстания, иронически отсылал читателя к «Московским ведомостям» (высказывавшим казенную точку зрения «от лица всего русского народа»), при этом так же цитировал строчки «От финских хладных скал...»¹¹.

Мысль о том, что содержание понятия «патриотизм» связано с обстоятельствами исторической жизни, с социальными отношениями, с положением самого «патриота» в обществе, с системой его политических воззрений, является одной из главных мыслей Слепцова в третьей главе «Петербургских заметок». Дав представление о великодержавных «патриотах», писатель переходит к характеристике «местных», «губернских патриотов, облеченных властью в какой-либо отдельной местности». Слова «губернский», «местный» приобретают у него не только конкретное, но и обобщенное значение. Вспомним, что в это же время в «Современнике» публиковалось продолжение «Писем об Осташкове», в которых писатель высмеял «местных» патриотов в прямом смысле этого слова: губернские осташковские власти, неумеренно и незаслуженно восхвалявшие свой город. Через два года в «Провинциальной хронике» он обличит такой же патриотизм провинциальных газетчиков. Но, разумеется, во всех этих произведениях писатель обобщает явление: он ведет речь о суженном, бескрылом патриотизме, о «слепой привязанности к месту жительства», к «местным условиям». И слова «место», «условия» даны им не только в прямом, но и в переносном смысле, т. е. существующий строй, социальные порядки, которые удовлетворяют «облеченных властью» чиновников, помещиков, купцов («откупщиков») и т. д. Их патриотизм вовсе не бескорыстен, напротив, он продиктован личными выгодами («родиною я могу назвать только такое

место, где мне хорошо живется»). Девиз этих «патриотов» — девиз космополитов: *ubi bene, ibi patria*.

Интеллектуальными и нравственными уродами выглядят в описании Слепцова люди, порабощенные «местными условиями» (самодержавно-полицейским государством). Неразвитость общественной жизни в стране, — указывает Слепцов, — непробужденность политического сознания в массах объективно содействуют укреплению официальной идеологии («охранению существующего»), являются источниками консерватизма в сознании миллионов русских людей. Примеры с гренландцем, кавалерийской лошастью и заключенным в тюрьму помогают Слепцову усмотреть в отрицаемом им типе «местных патриотов» (т. е. мнимых) три разновидности: «неразвитых», «невозделанных» и «извращенных». Первые — это темные люди из народа, чьи патриотические чувства ограничены бедностью их гражданского сознания; вторые — обыватели, находящиеся в плену казенной идеологии; третьи — та часть интеллигенции, которая мирится с действительностью и идет практически на сделку с существующим порядком вещей.

Писатель указывает и на черты сходства в патриотизме этих различных категорий людей. Их всех объединяет слепая любовь к родине, в узком понимании этого слова (к «месту рождения», «пастбищу», «стойлу»), привычка к ненормальным условиям жизни, ограниченность требований, повиновение идеологическим поводам («пастухам» и «конюхам»).

Слепцов показывает также, что бедность сознания, ограниченность и извращенность понятий являются помехами в деле распространения правильных, широких и справедливых представлений о жизни: «в каждом постороннем существе <революционер> видит врага; <ко всякому изменению status quo > к попыткам преобразования общества> относится враждебно, во всяком движении видит риск».

В первой части своего рассуждения о патриотизме Слепцов критически оценивает «ложные представления»; во второй — он дает понятие об истинном революционно-демократическом патриотизме (некоторые черты его, разумеется, «просвечивали» и сквозь критические суждения). По мере приближения к этой — позитивной — части автор делает свою речь все более «туманной», это само по себе должно было настораживать читателя, заставляя предполагать «цензурность» предмета изложения. В самом деле, Слепцов задумал не только дать программу революционного патриотизма, но и создать образ последовательного представителя такого патриотизма. Для этого он пользуется перифразами: «местные особенности», «климатические признаки» (национальные русские особенности); недомолвками: «...мы можем рассматривать только известные явления и притом лишь с известной стороны», т. е. выбирать из жизни лишь немногое, что не вызывает цензурных преследований.

Иногда Слепцов мистифицирует реакционного читателя, пользуясь его терминологией для выражения своих мыслей. Так, указывая на «похвальные черты нашего народного характера», Слепцов вкладывает новое содержание в слова: «преданность» (не царю, а революционному делу), или «твердость в вере» (не в бога, а в исход освободительной борьбы). Упомянув о «разных доблестных событиях из нашей истории», он имеет в виду не те события, в которых проявились верноподданность и воинственная доблесть, а те, в которых высказались гражданские чувства («благородные порывы», «благородство и самоотвержение»). Слепцов выражает готовность черпать «для аргументации» примеры из современной общественной жизни, но тотчас же дает понять, что не сможет этого сделать по соображениям цензурного характера. И в этом случае писатель сознательно придает своим словам прямо противоположное значение. Призыв «добровольно отказаться от такого богатого <...> источника, какова наша общественная жизнь», — следует понимать как заявление о *вынужденном* отказе от разработки некоторых политически острых вопросов современности. Несколько ниже автор еще раз подчеркивает, что этот отказ наносит существенный ущерб его замыслу — создать представление о революционном патриотизме: «Но, обратившись снова к теоретическим рассуждениям, мы, по-видимому, добровольно лишаем себя всякой возможности уяснить себе сущность русского патриотизма». Употребив здесь слово «по-видимому», автор вносит элемент сомнения в слово «добровольно» и приближает его тем самым к понятию «вынужденно».

«Предмет нашего рассуждения, — пишет Слепцов, — уже по самому существу своему относится к категории щекотливейших чувств, избравших, как известно, местопребыванием своим самые укромные тайники души». Далее автор не совсем точно излагает и цитирует текст пятистишия из Полтавы Пушкина:

С л е п ц о в

П у ш к и н

...известно также, что «проникнуть в бездну роковую души, да, пожалуй, еще коварной» (кто может поручиться, коварна она или нет?) так же трудно, даже для проникательного ума, как «слазить в глубину морскую, покрытую недвижимым льдом».

Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижимым льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной?..

Пушкинские строчки, посвященные Мазепе — врагу русского самодержца, — весьма своеобразно используются Слепцовым. Ему приходится прибегнуть к этому образу, чтоб скрыть свое намерение — сказать читателю о современных врагах самодержавия: Чернышевском, Михайлове, русских политических эмигрантах, русских офицерах, участниках польского восстания и др. Но при этом писатель осторожно вносит существенную «поправку»: он исключает из характеристик современных борцов с правительством такое качество, как «коварство». Он делает ряд намеков на конспирацию («чувства, избравшие местопребыванием своим самые укромные тайники души»), на преследование свободной мысли полицией и цензурой («открытие таких душевных свойств и побуждений современного человека, которые не принято обнаруживать»), служит «поводом к различным недоразумениям», которых автор старается «по возможности избегать»). Некоторые сочетания слов выполняют здесь двойную функцию: вызывают впечатление о трудности положения писателя, говорящего на «щекотливую» тему, а также о деятельности политических агентов: «проницательные умы», делающие «экскурсии в душевные тайники» (ср. педринское: «читать в сердцах»).

Понятие истинного патриотизма у Слепцова сродни пониманию этого «священного» слова Чернышевским¹². Быть патриотом — значит желать блага своей родине, бороться за преобразование общества в социалистическом духе. При этих общественных условиях, по заключению писателя-демократа, само понятие патриотизма приобретает свой подлинный и широкий смысл.

Слепцов пользуется словами: «блага родины», «общая цель», «порядок вещей», «свойства требований» — и доказывает, что содержание этих слов совершенно различно у демократов и охранителей существующего строя. Для последних понятие «блага родины» — это не что иное, как выполнение желаний и требований привилегированного меньшинства. В основе их «патриотизма» лежит стремление сохранить личные выгоды, «священное право собственности», сословные привилегии, монополии. Этому подчинены меры «общественной безопасности и порядка».

Говоря о «справедливых требованиях» и желаниях патриотов — последовательных демократов — о «праве быть недовольным», о «праве жить лучше», писатель в сущности популяризирует «теорию разумного эгоизма» Чернышевского. Исходные положения Слепцова: равноправие, согласование личной «выгоды» с «выгодой» большинства. Трудность положения патриотов-революционеров Слепцов видит в том, что «благотворные цели» их являются «отдаленными» (социализм), «невидимыми для большинства, стремящегося к достижению только самых близких целей и к удовлетворению самых назойливых нужд» (т. е. не поняты народом, не вошли еще в народное сознание), а революционные способы достижения этих целей («действия, клонящиеся к уничтожению разных монополий и привилегий», «коренное изменение общественного строя») вызывают активное сопротивление охранителей, которые прибегают не только к репрессиям, но и к различным формам дискредитации социалистических идей («ложное толкование <...> главных целей»).

В заключительной части своего рассуждения о патриотизме Слепцов выражает горячую надежду на освобождение «большинства» от «местных условий», на пробуждение политического сознания разночинной интеллигенции и людей из народа, на расши-

рение, таким образом, круга борцов за социалистическое переустройство общества («является недовольство и стремление к удовлетворению новых нужд и потребностей»), на формирование и развитие свободного человека, человека революционного склада (у него насущная потребность «жертвовать некоторыми и даже всеми личными благами для удовлетворения других так называемых высших требований») и, наконец, на создание социалистического общества, в котором «понятие о личном благе из эгоистического, узкого понятия» превратится «в неизмеримо широкое и бескорыстнейшее понятие о благе всего мира». Во всем этом нельзя не усмотреть желания писателя напомнить о программе заключенного в крепость Чернышевского, публично заявить о своей солидарности с нею.

Критикуя «ложный патриотизм» и излагая программу патриотизма истинного, Слепцов, как мы видели, «добровольно» отказался черпать примеры из современной жизни для доказательства своих мыслей. Он сделал это (в завуалированной форме) в следующих частях цикла «На параде» и «Отрывок из дневника».

Когда третья и пятая части были в корректуре запрещены цензурой, а четвертая («На параде») дозволена к печати в «Современнике», Слепцов внес дополнение в заглавие, придав, на первый взгляд, еще более «невинный» характер содержанию сценки: «На параде, среди зрителей». Слепцов изображает в этой сцене не сам парад войск на Царицыном лугу, а поведение и настроение толпы, которая, собственно, парада почти не видит, однако, по традиции, возбуждена в «патриотическом» духе (мысль, высказанная в третьей главе о воздействии официальной или, по выражению Чернышевского, «казенной» идеологии на «невозделанных» людей).

Знаменателен выбор Слепцовым материала, места и времени действия для сцены. По свидетельству современников, летом 1863 г. на Царицыном лугу правительство устраивало парады войск и торжественные встречи войскам, вернувшимся из Польши¹³. В охранительной печати с восторгом рассказывали о подобных «зрелищах», использовали их в целях возбуждения шовинистических настроений.

Слепцов сознательно снижает «торжественное событие», сосредоточивая внимание читателя лишь на бытовых разговорах, жанровых сценках, не имеющих порою никакого отношения к тому, что происходит на плацу. Писатель использует в этом случае тот же прием, что и в корреспонденции «Из Новгорода», где вместо изображения торжественного празднования тысячелетия России и верноподданнической встречи народа с царем, рассказывает он в юмористическом духе бытовую историю (см. текст корреспонденции на стр. 300—304 настоящего тома).

Позиция автора сцены «На параде» становится особенно ясной, когда сравниваем ее с описаниями парада на Царицыном лугу в официально-правительственной печати, в газетах «Русский инвалид», «Северная почта» и др. «Вчера, в субботу, 20 апреля в один час по полудни, на Марсовом поле происходил обычный весенний высочайший смотр войскам, расположенным в Петербурге», — начинает повествование корреспондент «Северной пчелы»¹⁴. Судя по дате, речь здесь идет о том самом параде, о котором писал и Слепцов. «Светлый, хотя и довольно холодный день» (у Слепцова краски стущены, что продиктовано целями обличения: «Погода была холодная; ветер со свистом носился по Летнему саду; набегали тучи»). В центре внимания автора корреспонденции Александр II, его блестящая свита и разные роды войск (особенно отмечает он «отборное войско» — гвардию, участвующую «в усмирении польского мятежа»). Характерно для корреспондента «Северной пчелы» стремление говорить и оценивать явления в охранительном духе от имени всего народа («каждый <...> полюбовался на ту великолепную и оживленную картину, которую представляло в этот день Марсово поле», «каждый <...> своим наблюдением остался доволен»; «полюбовались и на добрый молодецкий вид войск»); характерна и верноподданническая фразеология («Государь император <...> изволил остановиться перед палаткой...»).

«Невинная» жанровая сценка Слепцова «На параде» является своеобразной «рецензией» писателя-демократа на подобные охранительно-шовинистические описания. Она органически связана с рассуждением Слепцова о великодержавных патриотах в третьей части «Петербургских заметок». Читая эту корреспонденцию, мы понимаем, что именно опустил Слепцов в своей сцене. Он ничего не сказал о праздничном виде

Марсова поля, о царе, делающем смотр войскам, и весьма бегло зарисовал сами эти войска, проходившие церемониальным маршем мимо царя. Читатель может убедиться в пренебрежительном отношении автора к власти, подавляющей польское восстание, и к тем, кто вызывает и поддерживает в «толпе» воинственно-повинистические настроения.

Понятны и некоторые вынужденные недомолвки Слепцова: «— Вон они, финляндцы-то, стоят,— показывал купец своей жене и дочери.— Молодцы!» Здесь намек на лейб-гвардии Финляндский полк. «Северная почта», «Русский инвалид» и другие газеты часто сообщали и в это время об «успешных» действиях Финляндского полка под Вильной против «польских мятежников»¹⁵.

Так как в центре внимания Слепцова та самая публика, о которой лишь вскользь упоминает автор «Майского парада», то писатель позволяет себе рисовать жанровые сценки и при этом допускает такие слова как «смех», «визжали», «ругались», «фыркали», «ворчали» и др., казалось бы, не соответствующие ни месту действия, ни изображаемому событию. Вместо ожидаемой зарисовки воодушевленных лиц, сосредоточенных на происходящем, Слепцов пишет: «По лицам зрителей заметно было, что они очень устали и что им скучно» (последних четырех слов нет в журнальном тексте). Автор находится в толпе, он наблюдает парад также издали и порой сознательно не рассчитывает (тоже эзопов прием) того, что говорят зрители по поводу парада и происходящего здесь, на задворках.— «Свинья, солдат, невежа! право невежа!» — это в равной степени может относиться и к находящимся в отдалении, на плацу, и к полиции, которая, по ироническому замечанию Слепцова, «тщетно старалась укротить народные восторги», и к «отставному солдату-любителю, изъявившему желание помогать полиции в укрощении толпы» (слова: «свинья, солдат» и «укрощение толпы» не вошли в журнальный текст).

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ «Когда же придет настоящий день?» — Добролюбов, т. II, стр. 239. См. также «Внутреннее обозрение» — т. V, стр. 208, 241.

² «О погоде». — Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. II. М., 1948, стр. 70—71.— Отметим, что в охранительных газетах этого времени считали штампом, архаизмом описания петербургской погоды и предостерегали от этого приема начинающих фельетонистов. Так, в «Северной пчеле» читаем: «Во дни рождения русского, или точнее петербургского фельетона, он обыкновенно начинался и оканчивался толками о погоде <...> Всею есть конец: в наше время для фельетониста столько пиши, что ни один из них <не> посмеет заикнуться о погоде из опасения подвергнуться насмешкам своей братии» («Всемирное обозрение», 1863, № 3, от 4 января).

³ Слепцов использует здесь те же образы, что и Салтыков-Щедрин (в цикле «Наша общественная жизнь»: Петербург — Северная Пальмира («увеселения и мероприятия северной Пальмиры») — Щедрин, т. VI, стр. 39).

⁴ «В вечность грядущему 1863 году». — А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах. Изд-во АН СССР, т. XVII. М., 1959, стр. 296.

⁵ «Северная пчела», 1863, № 44, от 16 февраля («Масленица в 1863 г. в С.-Петербурге»).

⁶ «Русский инвалид», 1863, № 12, от 15 января.

⁷ «Северная почта», 1863, № 12, от 15 января.

⁸ «Северная пчела», 1863, № 44, от 16 февраля.

⁹ «Русский инвалид», 1863, № 28, от 3 февраля («По поводу дешевки»).

¹⁰ «Северная пчела», 1863, № 138, от 27 мая (Ростислав <Ф. М. Толстой>). «Лже-мудрость героев г. Чернышевского»; № 142, от 31 мая (Николай Горохов <Н. Лесков>). «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?“».

¹¹ «Наша общественная жизнь». — Щедрин, т. VI, стр. 110.

¹² «Очерки гоголевского периода русской литературы». — Чернышевский, т. III, стр. 136.

¹³ А. В. Никитенко. Дневник, т. II. М., 1955, стр. 349 (запись от 11 июля 1863 г.). 16 марта 1864 г. Никитенко рассказал о параде на Исаакиевской площади: «Парад составлял зрелище величественное и поэтическое и невольно возбуждал чувство патриотической гордости» (стр. 423).

¹⁴ «Северная пчела», 1863, № 86, от 22 апреля («Майский парад»).

¹⁵ «Северная почта», 1863, № 78, от 11 апреля; № 92, от 28 апреля (Известия из Вильно); № 111, от 23 мая (приказ Виленского военного округа); № 132, от 16 июня: «Русский инвалид», 1863, № 60, от 16 марта; № 91, от 27 апреля.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Северная Пальмира, в просторечии пазываемая: Санкт-Петербург, есть, как известно, в некотором смысле рог изобилия, из которого исходит всякая благодетель на всю землю русскую. Кроме того, в Петербурге, как известно, есть Сенат, Синод и корабельные доки. В Петербурге увидели свет многие ученые и поэты; и, к довершению всего, Петербург мнит себя быть просвещенною столицею. Я тоже родился в Петербурге. Я бы мог сказать: Петербург — моя родина, но не скажу, потому что это было бы так же нелепо, как если бы кто-нибудь сказал, что его родина — управа благочиния. И хотя действительно бывали случаи деторождения в разных присутственных местах и канцеляриях, однако никто не называет их своею родиною. Петербург не может быть ни чьей родиной. Мы все, живущие здесь, мы все — люди приезжие, все, так сказать, временно проживающие. И если мы видим людей, которые рождаются, живут и умирают, не выезжая из Петербурга, то такие случаи следует относить к категории известий, печатаемых в полицейских ведомостях, к категории мертворожденных, без вести пропавших и таких людей, у которых еще в детстве половину тела отъедают домашние животные. Мы же, временно проживающие здесь по своей или казенной надобности, мы всегда бываем на чужой и смотрим на всех так, как будто нам нужно куда-то ехать. Петербург с этой стороны можно рассматривать как некоторое больших размеров увеселительное заведение, в котором всякий посетитель за установленную плату получает право гулять, слушать музыку, любоваться канатными плясунами и сидеть на дерновых скамьях. Входящий в это место утех и ликований ищет в нем того, что ему нужно. Жаждающий наслаждения легкомысленный посетитель с жадностью внимает пению иностранных артистов, не без зависти смотрит на то, как обедают ученые собаки, или же приискивает себе между гуляющими красивую подругу и прохордится по хересам. Входящие же с более практической целью не увлекаются пением и обедающими собаками, не упиваются вином; напротив того, ведут себя скромно, рукоплещут умеренно и в то же время высматривают богатых невест, или, наконец, таскают платки из карманов.

Но как те, так и другие посетители не должны сомневаться в том, что наконец программа всех этих удовольствий когда-нибудь истощится, иностранные артисты допуют последнюю песню, трубачи протрубят все свои три отделения, догорит последний бриллиантовый щит, и распорядитель праздника объявит почтеннейшей публике, что представление кончилось. В этом не должны сомневаться и те, которые по легкомыслию или по мягкости сердца явились на праздник даже с семействами, с женами и детьми; а равномерно и те, которые вообразили себе, что можно будет вечно высматривать богатых невест или таскать платки из карманов у зазевавшихся посетителей. В непрочности всех этих удовольствий не должно сомневаться даже и в том случае, когда бы новая двухаршинная афиша возгласила новый великолепный праздник с каскадом живой воды и участвовавших вновь прибывших в здешнюю столицу иностранных чародеев, показывающих свои фокусы бесплатно и сверх того оделяющих публику разными увеселительными сюрпризами. Благоразумный посетитель не увлекается щитами и тирольцами, не бежит по темным дорожкам за красивыми девицами и не располагается по-домашнему в «храме славы». Он на одну минуту не оставляет его мысль, что все это в сущности тлен и наваяние духа тьмы. Благоразумный посетитель ежеминутно держит в памяти, что все эти колоссальные афиши, все эти сюрпризы и премии свидетельствуют только о том, что дела распорядителя праздника очень

порасстроились и требуют поправки; что трубачи и певцы понаскучили публике и теперь нужно выдумать что-нибудь новое, доселе невиданное. Несмотря на это, однако, многие легкомысленные посетители убеждены в том, что жизнь именно в этих увеселениях-то и заключается. Такое мнение разделяется и отдаленными провинциями. Насколько ошибочен такой взгляд, предоставляю судить читателю. Но в то же время я, с своей стороны, утверждаю, что жизнь наша есть действительно бесконечный праздник с музыкой, национальными плясками и бенгальским освещением. Разница между моим мнением и мнением легкомысленных посетителей, в сущности, самая пустая и зависит лишь от перестановки слов. Они убеждены в том, что жизнь наша *должна заключаться* в бесконечном празднестве, а я утверждаю, что она в этом *заключается*. Несмотря на это ничтожное, по-видимому, различие, в результатах мы расходимся так далеко, что даже нам становится трудно понимать друг друга. Так, например, объявляется о каком-нибудь новом увеселении; легкомысленный посетитель, со свойственным ему легкомыслием, забывая о скоропреходимости и непрочности всех прежних представлений, с жаром бросается на новое и предается ему всей душой и сердцем и даже негодует на тех, кто не предается ему так же легкомысленно. Я же, читая афишу, рассуждаю таким образом: вчера было подобное объявление, завтра будет еще великолепнее, а между тем на деле окажется, что разницы между ними никакой нет; потому что ни один акробат, ни один чародей не может сделать ничего больше того, что он сделать может; а всё, что они могли сделать, они уж давно сделали и нового ничего выдумать не могут. Следовательно, безрассудно верить объявлению, в котором говорится, что сегодня, например, будет афинская ночь, когда я доподлинно знаю, что ночь сегодня так же, как и завтра, будет петербургская; безрассудно верить и тому, что некоторый приезжий огнеед будет пить кипящую смолу и закусывать пылающими головешками, когда мне положительно известно, что человеческий желудок такой пищи не принимает.

Вооруженный благоразумием и рассудительностью, я не могу предаваться тем наслаждениям, которым так малодушно ты предаешься; я не должен им предаваться; мало того, я беру на себя обязанность предостеречь тебя, легковверный посетитель; стоя у входа в увеселительное заведение, я встречу тебя, отведу в сторону и скажу: «Друг мой! в этом заведении предостоят тебе великие соблазны, здесь будут обольщать тебя музыкою, пением и любово-страстными взглядами, а в заключение станут пугать шутихами и ракетами; но ты будь тверд, ничего не бойся и помни, что с рассветом все это исчезнет, останутся только битые стекла и серный запах. Помни это и будь тверд, иначе тебе угрожает опасность быть одураченным самым постыдным образом. Но я знаю наперед, что ты не послушаешь меня и погибнешь глупо, бесславно, почти не понимая своей гибели, облизываясь и равнодушно болтая ногами. И никто тебя жалеть не будет. Если ты погиб на грошовой приманке, стало быть, ты сам гроша не стоишь, — туда тебе и дорога. Ты всегда был легкомыслен, хотя и тщеславен, всегда был жаден и сластолюбив, хотя и беспечен, ты всегда был жестокосерд и малодушен, ты с самого дня рождения твоего обречен на гибель, а потому и говорить о тебе много не стоит. Но ты не удовольствовался своим собственным развратом, ты привел за собой на праздник и „малых сих“. Ты покушаешься развратить детей для того, чтобы они не могли тебе служить укором. К ним я не могу оставаться равнодушным. Для того чтобы тебе не мешали развратничать, ты хочешь уверить всех, что дети влекут тебя к гибели, но это ты врешь, любезнейший, и я обличу тебя. Обличу хладнокровно, бесстрастно, рисуя одну за другой картины твоего беспутства в назидание твоим детям. Я покажу им тебя во всей форме, во всей *нагольной* красоте твоей; я разоблачу перед ними



«ЕЛКА». ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА

- Мама! Мы не хотим бонбоньерок, дай нам игрушку, которая на самом верху.
- Ах, какие вы недовольные: папа дает вам такие прекрасные бонбоньерки, а вы требуете игрушку, которая годится только для больших детей.
- Не правда ли, какие великолепные цветы на этой бонбоньерке?
- Это Eloquentia officiosa.

Отклик на отношение «отцов» и «детей» русского общества 1860-х гг. к герценовскому «Колоколу» и к отечественной прессе либерального и правительственного направлений — прессе «официального красноречия». Надписи на «бонбоньерках» — названия газет: «Очерки», «Голос» и «Наше время», «С.-Петербургские ведомости», «Северная почта» и «Северная пчела».

Рисунок неизвестного художника. Предназначался для журнала «Гудок», декабрь 1862 г. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

богов, которым ты куришь фимиамы. Твои дети увидят тебя, воруемого и прелюбых творящего, лгущего, доносящего и завидующего скотам твоего ближнего. С омерзением отвернутся от тебя твои собственные дети и не пойдут за тобой».

ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА С ДЕТЬМИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ УЛИЦАМ

Я думаю, милые дети, что вам не бесполезно было бы пройтись по городу и хотя поверхностно ознакомиться с его нравами. Мне будет легко говорить с вами, потому что вы понимаете многое гораздо лучше, нежели как думаю ваши родители. К тому же погода стоит чудесная; солнышко светит, на небе чисто, как будто его только что вымели и не успели еще посыпать песком. Воздух немного душен, но что ж делать? Нельзя же всё вдруг. Зато мы можем любоваться картиною весны. Видите, уже начинают чинить мостовые, возят грязь и городской с пистолетом глядит за порядками. Но вы не бойтесь, милые дети, он стрелять в нас не будет. Законом строго запрещается стрелять в проходящих, особливо если они ведут себя смирно. К тому же и пистолет его не заряжен; он служит только атрибутом его звания и означает власть. Знаете, как Юпитер изображается с громом? Греки огнестрельного оружия не знали, а не то они, верно, изобразили бы Юпитера с пистолетом в руке. Снурок же, который вы видите на груди городского, привязан к свистку. Городской свистит в него всякий раз, когда кому-нибудь угрожает опасность или кто-нибудь вдруг зашалит на улице. Так заведено за границу.

Но пойдёмте дальше. Видите, сколько здесь больших домов, сколько красивых магазинов. Если вы будете послушны, то и у вас будут такие же дома, и вы их станете отдавать внаймы. А вот это бани. Бани также очень выгодно иметь, потому что в банях можно проводить время гораздо приятнее, нежели в маскараде. Многие мужчины, следуя древнему русскому обычаю, прямо из маскарада ездят в бани, чтобы смыть с себя грех. Поэтому, может быть, многие дамы баню называют *маскарадом*. Впрочем, все это вы узнаете впоследствии, а теперь обратите внимание на этот мост, и заметьте, как он искусно сделан. Однако многие его не хвалят, а почему не хвалят — вы и об этом узнаете впоследствии.

Я бы очень желал рассказать вам кое-что о разных замечательных зданиях, но во время прогулки это не совсем удобно: здесь так много любопытных. Вот видите этого мальчишка, который стоит в толпе и смотрит в окно магазина. Вы думаете, он картинки рассматривает? — Нет; он стоит и ждет; и если кто-нибудь скажет: «Какая славная борода у этого Гарибальди!» он сейчас пойдет к своему папаше и наслетничает: «Такой-то сказал: „Славная борода у Гарибальди“». А папаша скажет: «Не пускать его гулять за это! Пусть сидит».

А в этом магазине книжки продают, разные книжки. В одних книжках написано: «Милые дети! Что вы сидите? Вы пошли бы поиграть!». А в других написано: «Если ты, щенок, посмеешь не слушаться, я тебя в бараний рог согну». Но только первых книжек детям не дают, потому что большие боятся, чтобы дети не зашалили.

Заметьте, какая это многолюдная улица, сколько тут экипажей и магазинов, сколько дам и мужчин гуляет по тротуарам. Видели вы, сейчас проехал господин в коляске, сердитый такой? Вы думаете, он в самом деле сердит? Нет, это он нарочно притворяется, чтобы его дети слушались. А вот это чиновники. Это всё чиновники. Вы знаете, что такое чиновник? Этакой дом есть большой, в доме стоят столы, а за этими столами сидят люди и всё пишут. Придет к ним начальник и скажет: «Напишите так, как я приказываю». Они напишут. А потом придет другой начальник

и скажет: «А теперь пишите так, как я приказываю» — они опять напишут. А когда эти люди придут домой, то возьмут своих детей за уши и скажут им: «Мы отечеству служим, а вы этого не чувствуете. Становитесь на колени!»

А вот жены этих чиновников. Они всё ходят по магазинам и думают: «Если бы нам подарили все эти игрушки! Вот бы хорошо!» Берегитесь, дети, берегитесь! На улице надо быть осторожным. Чуть-чуть было вас не раздавил этот всадник. Видите, как он шибко скачет. У него в сумочке записка лежит, а в записке написано: «Милый Ваня! Пети нет дома. Приходи ко мне играть. Твоя Люлю». А вот эти люди, которые с гремушками ходят, — их надо жалеть. Когда они были маленькие, им родители говорили: «Учитесь, дети! Учитесь! а то на век останетесь болванами». А они не хотели слушаться и говорили: «Мы не хотим учиться, мы лучше будем в лошадки играть». Вот так и вышло, как родители говорили. И если вы не будете учиться, то и вам привесят гремушку. Вас, может быть, удивляет, что здесь так много немцев. Этому нечего удивляться. Они очень любят пиво. Если где-нибудь поставить бутылку, то вокруг нее сейчас же соберутся немцы, выпьют пиво и скажут: «So». Теперь мы будем учить детей: ein, zwei, drei; ein, zwei, drei... scht! stehen Sie ruhig!*

Да, впрочем, не довольно ли на первый раз? Не пора ли нам домой? Но для того, чтобы весело кончить нашу прогулку, мы завернем на площадь, где гуляет народ. Может быть, и там увидим что-нибудь поучительное. Но будьте осторожны и здесь, милые дети! Осторожность нигде не мешает. Не смотрите на то, что здесь музыка играет и продаются орехи. Это еще ничего не значит. Здесь в настоящую минуту происходит нечто очень серьезное, нечто такое, чего дети не должны понимать. Если бы я вам сказал, что здесь делается, то вы бы, верно, заплакали, но я не хочу вас огорчать. Что толку плакать? Слез и без того много на свете. А так как слезами ничему не поможешь, то я лучше расскажу вам что-нибудь веселенькое.

Замечаете вы эти лубочные домики и палатки с разными вывесками и флагами? Эти домики и палатки выстроены для того, чтобы в них веселиться. Тут же, около этих домиков, продают разные лакомства и водку. Видите, сколько здесь народу! Это всё пришли сюда веселиться. Но посмотрите, что они делают. Например: вот, на балконе стоит уже пожилой человек, одетый испанцем (это отец четверых детей), ему холодно в этом легком наряде и вовсе невесело, но он делает разные гримасы и старается всех рассмешить. Другой, тоже молодой человек, в костюме паяца, бьет его сзади палкой по голове, и все смеются. Неправда ли, как это смешно? Вот здесь тоже маленькая деревянная кукла с большим носом бьет другую куклу, и опять все смеются. Публика всегда бывает рада, когда кого-нибудь бьют. Вы спросите: почему? А потому что это в самом деле очень весело. Мне не больно, а тот, кого бьют, сделал такую смешную гримасу, что нельзя не смеяться. А эта кукла, посмотрите, она всех бьет: цыгана, доктора, будочника; квартального только не бьет, но зато он ее бьет; кроме него, она всех переколотила, и наконец ее самое загрызла собака. Никого не осталось, только один квартальный цел. Разве это не смешно? А тут еще лучше. Глядите! Стоит человек и колотит по голове деревянного турка и даже деньги за это платит. «Почему же турка?» — спросите вы. А потому, что он турок.

Посторонитесь, дети! Дайте дорогу! Пьяный идет. Здесь много пьяных. Их никогда не надо толкать, потому что это больные люди. Они не могут жить, как мы живем: ходить везде, смотреть, что делается. Им все это очень противно, и потому они нарочно напиваются, чтобы забыть всё. Для этого

* «Так»... раз, два, три; раз, два, три... ш! стойте спокойно! (нем.).

же устроены и вот эти круги, на которых вертят людей до дурноты. У них закружится голова, они и не помнят ничего, песни поют, кричат, смеются. Они тоже больны. Однако я почти начинаю раскаиваться в том, что привел вас в это печальное место. Кто давал мне право отравлять ваши детские годы? Пойдемте домой.

Много ли мы прошли, а погода успела уж испортиться. Поглядите, на небе тучи, накрапывает дождь, что-то серое затянуло всё: и дома, и людей, и впереди ничего не видно, один туман.

В это время у больших разыгрывается желчь, они становятся мрачны и злы, а дети пугливо жмутся по углам. Только пьяный, качаясь, бредет по улице и что-то бессвязно бормочет про себя и машет руками. Ему теперь кажется, что он и будочника избил, и доктора избил, и цыгана избил, и что никто к нему подступиться не смеет. Он очень доволен своею судьбою. Так и вы старайтесь поступать, милые дети! Ибо тот только истинно счастлив, кто доволен своим жребием.

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗВЫШЕННОЕ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ?...»

Что может быть возвышеннее любви к отечеству? Что может быть доблестнее жертвы, приносимой человеком для спасения своей родины? Да и кто же не любит ее? Кто?.. Разве так называемые космополиты? Но я берусь доказать при случае, что и они также не изъяты от свойственной всему живому привязанности к месту своего рождения, что и они любят свою отчизну, но только *странною* любовью.

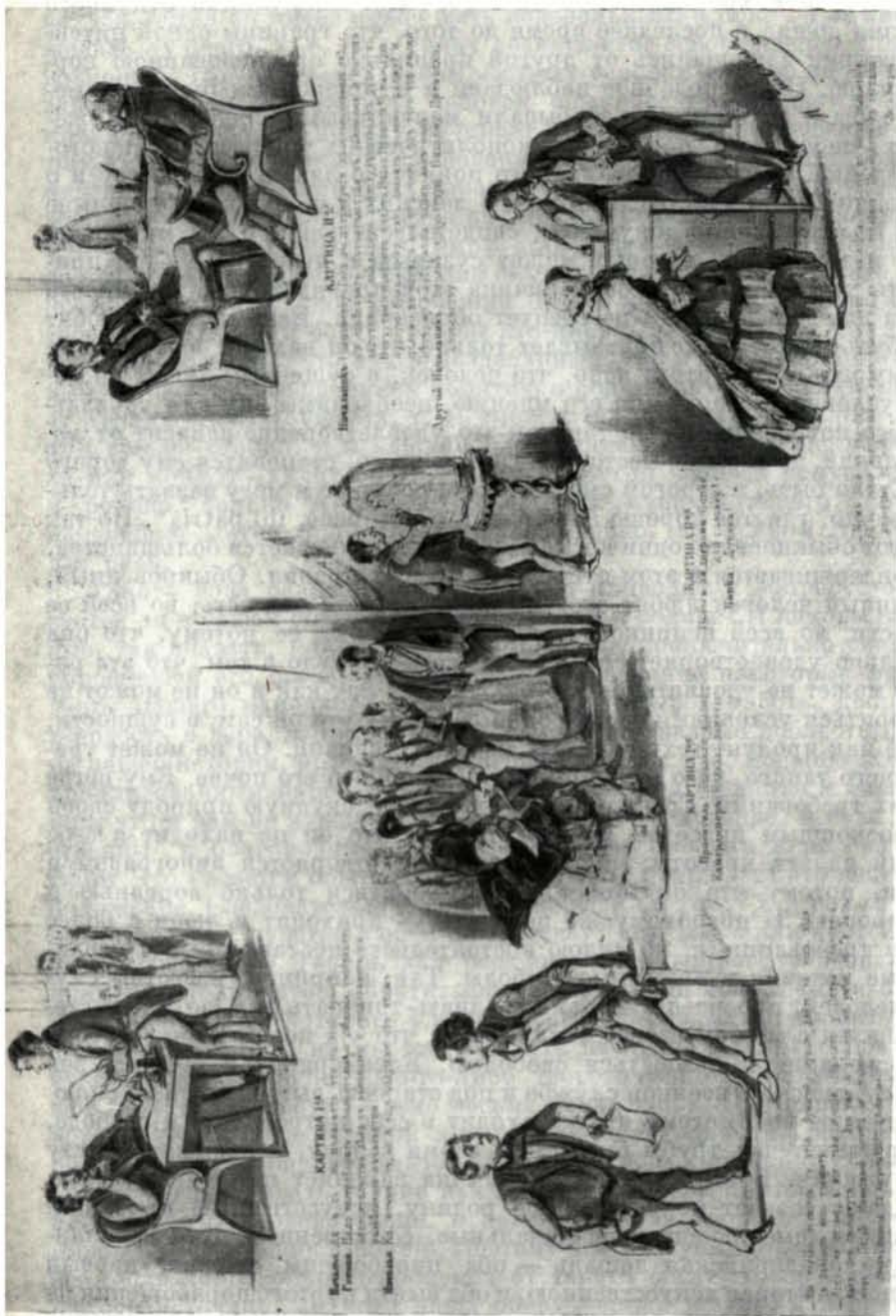
Любовь к родине бывает всякая, смотря по человеку. Один любит поща, другой попадью, а третий попову дочку; но если взять чувства всех трех любителей вообще, то окажется, что все они черпают предметы для своей привязанности из одного и того же источника, из попова семейства. То же бывает и с любовью к отечеству. Здесь все зависит от того — что кто называет родиною. Один, например, разумеет под этим словом все пространство удобной и неудобной земли, с пустошами и водами, обозначенное на карте генерального размежевания и простирающееся

От финских холодных скал до пламенной Колхиды

и

От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая.

По-видимому, дистанция порядочная, но другой не удовлетворяется этим и простирает свои чувства еще далее на восток, до самого Чукотского носа, и на запад, за «буйную Вислу». Из приведенных двух примеров легко усмотреть, что такое необузданное чувство, как любовь к родине, не будучи сдерживаемо в границах благоразумия и увеличиваясь постоянно в географической прогрессии, наконец, выходит из всяких пределов. Указать этому правила для руководства тоже никак невозможно. Из этого легко выводится заключение, что такое чувство обыкновенным геометрическим измерениям в длину, высоту и ширину подлежать не может. Доказательством этому служит также не меньшая трудность в определении границ этого чувства и в тех случаях, когда дело пойдет на убыль. Так, например, какой-нибудь губернский патриот, облеченный властью в какой-либо отдельной местности, большею частию пойдет в этом отношении далее пограничных столбов своей губернии; и чем сильнее и сосредоточеннее любовь его к вверенной ему части, тем более и более суживаются и охлаждаются порывы его пламенной любви к отечеству вообще. Даже напротив, по мере усиления привязанности к своему месту, усиливается и неприязненное чувство ко всем, живущим за этими столбами, чувство,



СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ЧИНОВНИКОВ
Литография с рисунка Н. А. Степанова, 1858 г.
Из альбома «Знакомые», т. II, вып. 2
Литературный музей, Москва

переходящее в крайнем развитии своем даже в явное недоброжелательство и зависть. Лучшие примеры для объяснения такого рода спекуляции чувства любви к отечеству историк может черпать в летописях упраздненных ныне откупов и в хрониках помещичьего быта. Спекуляция откупного патриотизма дошла в последнее время до того, что границы одной питейной территории защищались от другой правильно организованною кордонною силою. Нечто подобное наблюдаем и в помещичьем быту, где межевые столбы и границы не раз бывали молчаливыми свидетелями ожесточенных побоищ по поводу космополитических поступков какого-нибудь теленка, не имеющего никакого понятия о любви к отечеству и о специализации этого чувства. В архивах земских и уездных дел и поныне хранятся красноречивые документы, свидетельствующие о тех микроскопических размерах, до которых может сузиться в человеке слепая привязанность к месту жительства. Причина этой привязанности так проста и понятна для каждого, что не требует объяснения. Если человек любит какое-нибудь место, то это показывает только, что он находит в этом месте то, что ему нужно. Из этого ясно, что человек, в сущности, любит не место, а те условия, которые, по его мнению, необходимы ему для удовлетворения его потребностей. Но так как это удовлетворение зависит от *местных* условий, то и самое место, вследствие этого, становится ему дорого и мило. Стало быть, в строгом смысле слова, родиною я могу назвать только такое место, где мне хорошо живется, т. е. *ubi bene, ibi patria**. Но так рассуждают обыкновенно одни космополиты, что же касается большинства, то оно придерживается в этом отношении других правил. Обыкновенный, неовоспитанный человек любит свою родину так, как она есть, во всей ее неумышленности, во всей неприкосновенности, и любит ее потому, что она действительно удовлетворяет его требованиям. Но дело в том, что эта родина и не может не удовлетворять его точно так же, как и он не может не удовлетвориться условиями своей родины, потому что он сам, в сущности, не больше как продукт тех же самых местных условий. Он не может требовать ничего такого, чего бы не было в породившей его почве. Ему нигде взять этих требований. Гренландец предпочитает скудную природу своей родины роскошным красотам Италии потому, что он не находит в себе требований на эти красоты; вкус его не удовлетворяется виноградом и ананасами, потому что он может удовлетворяться только ворванью и оленьей кровью. К подобному же результату приходят и люди с более широкими требованиями, но силою обстоятельств поставленные в неблагоприятные условия и лишенные свободы. Так, например, известны случаи, где человек, просидев в тюрьме двадцать-тридцать лет, до такой степени сживался с местом своего заключения, что уж потом не чувствовал никакого желания пользоваться свободою. Кавалерийская лошадь, век свой прослужившая в военной службе и под старость выпущенная на волю отказывается от нее, потому что не находит в себе потребности к свободе, и при первых звуках трубы бросается, сломя голову, к прежнему месту своего служения. В этих случаях привычка заменяет природные требования и даже создает искусственную родину, искусственные привязанности, вполне заменяющие первоначальные, естественные. Как гренландец, так и кавалерийская лошадь — оба поработаны средою, первый естественною, а вторая искусственною, и оба выйти из этого поработания не могут и не хотят, потому что у гренландца требования не развиты, а у лошади извращены.

Но по мере того как человек начинает освобождаться из-под влияния естественных условий, требования его становятся всё шире и шире. Он уже не довольствуется сбережением того, что имеет, он желает боль-

* где хорошо, там и отечество (*лат.*).

шего; отсюда война, торговля, цивилизация и т. д. А это возможно только тогда, когда у человека явится недовольство своим первоначальным положением, недовольство местными условиями, следовательно, только в таком случае, когда он имеет право быть недовольным, а пока он не имеет права желать лучшего, т. е. не в силах сознать его, освобождение для него невозможно. Но, оставаясь рабом местных условий и не имея возможности заявлять свои требования, человек обыкновенно ударяется в другую крайность. Он мало-помалу начинает суживаться и сосредоточиваться на том, что у него под руками. Требования его с каждым днем становятся ограниченнее, животная сторона вырастает, и, наконец, все побуждения его, вся внутренняя жизнь сводится на удовлетворение необходимейших нужд. Отношения его к внешнему миру становятся враждебными, потому что во всяком приходящем со стороны ему видится посягатель на его собственность. Человек в таком положении похож на собаку, которая стоит над своей блевотиною и боится, чтобы кто-нибудь ее не съел.

Из этого видно, что как невоспитанный, так и насильственно искаженный человек по отношению к понятию о родине ничем почти не отличается от прочих живых существ, т. е. смотрит на нее, как на родное пастбище или как на стойло, и в каждом постороннем существе (исключая пастуха или конюха) видит врага. И тот и другой человек допускает любовь к родине, только в смысле охранения существующего, ко всякому изменению *status quo* относится враждебно, во всяком движении видит риск.

Такого рода размышления невольно приводят к вопросу: обнаруживается ли в нашем обществе чувство любви к родине? И каковы его особенные, так сказать, климатические признаки, исключительно свойственные породившей его среде? Принимая в соображение некоторые похвальные черты нашего народного характера, как-то: преданность, добродушие и твердость в вере, и припоминая вместе с тем разные доблестные события из нашей истории, нетрудно убедиться, что и у нас, подобно всем прочим цивилизованным народам, нет недостатка в благородстве и самоотвержении, что и нам не чуждо все возвышенное и прекрасное. А если нам свойственны и благородные порывы, то почему же нам и не быть патриотами? Что касается опыта, то и он вполне подтверждает это лестное предположение. Следовательно, вопрос сводится <к тому?>, в каком виде проявляется в нас чувство любви к отечеству? И в чем заключаются его местные особенности? Теперь для решения этого вопроса следовало бы, по примеру публицистов, обратиться к современной жизни как к ближайшему источнику, из которого удобнее всего, по-видимому, черпать материал для аргументации; но мы этого делать не будем на том основании, что искать подтверждения какого-либо теоретического соображения в текущей действительности — дело весьма ненадежное. Настоящий смысл всякого явления общественной жизни узнается только из беспристрастной обработки разнородных фактов целой эпохи, а в настоящую минуту мы можем рассматривать только известные явления и притом лишь с известной стороны, следовательно, и доказательства наши неминуемо будут пристрастны и односторонни. Поэтому мы поступим гораздо благоразумнее, если добровольно откажемся от такого богатого, но еще не устоявшегося источника, какова наша общественная жизнь, и вернемся опять в так называемые заоблачные сферы.

К такому добровольному отречению от современной действительности побуждает нас и другое важное обстоятельство, а именно: предмет нашего рассуждения уже по самому существу своему относится к категории щекотливейших чувств, избравших, как известно, местопребыванием своим самые укромные тайники души; а известно также, что «проникнуть в бездну роковую души, да, пожалуй, еще коварной» (кто может поручиться,

коварна она или нет?) так же трудно, даже для проницательного ума, как «слазить в глубину морскую, покрытую недвижным льдом». При том же экскурсия в душевные тайники могла бы повлечь за собой, может быть, открытие таких душевных свойств и побуждений современного человека, которые не принято обнаруживать; а это могло бы послужить поводом к различным недоразумениям, что мы стараемся по возможности избегать.

Но, обратившись снова к теоретическим рассуждениям, мы, по-видимому, добровольно лишаем себя всякой возможности уяснить себе сущность русского патриотизма, т. е. сами у себя отнимаем средства судить об интересующем нас предмете. На это можно отвечать следующим образом: во-первых, такое чувство, как любовь к родине, явление вовсе не новое и не исключительно свойственное только нам, следовательно, о сущности его можно судить и по аналогии; а, во-вторых, характер нашего местного патриотизма нетрудно будет определить и из отношения всем известных русских патриотических действий к понятию о патриотизме вообще. Для этого прежде всего следует составить себе полное и по возможности ясное понятие о том, что такое любовь к родине?

Из предыдущего мы уже вывели, что это весьма простое и естественное чувство, свойственное каждому, что оно имеет основанием желание пользоваться теми благами, которые каждый считает для себя необходимыми, что выражается это чувство различно и что различие это зависит не от различия требований, а от свойства этих требований и взгляда каждого на благосостояние своей родины. Если я желаю себе блага, то, естественно, я буду желать того же и для моей родины и притом именно такого блага, какое я считаю для себя необходимым, потому что я получаю все блага от моей родины; следовательно, я буду желать ей того, чего желаю себе. Если же нас несколько человек и все мы видим, что желания наши одинаковы, то мы, вероятно, придем к убеждению, что наши общие желания и осуществлять скорее и удобнее, если мы общими усилиями будем преследовать одну общую цель, — т. е. будем стараться поддержать и обеспечить тот порядок вещей, который даст нам возможность спокойно удовлетворять нашим требованиям. И все те меры, которые мы предпримем для осуществления наших общих желаний, мы назовем мерами общественной безопасности и порядка. Таким образом откроется для нас возможность подвизаться на поприще патриотизма.

Но нельзя же, в самом деле, себе представить, чтобы у всех были одинаковые требования? В действительной жизни, напротив, мы замечаем бесконечное разнообразие требований и желаний. А из этого выходит, что между различными требованиями и желаниями легко может произойти разногласие и такие противоречия, что исполнение желаний одного повело бы к ущербу другого. Так, например, если я нахожу, что для моего благополучия необходимы, положим, калачи с медом, то, естественно, у меня должно явиться желание, чтобы мое отечество изобиловало этим продуктом, или если я пойму, что это невозможно, то буду желать, по крайней мере, такого порядка вещей, вследствие которого хоть несколько человек (и я в том числе, разумеется) могли бы безвозбранно пользоваться приятною привилегиею кушать во всякое время калачи с медом. И всякое изменение такого порядка, клонящееся к тому, чтобы лишить нас этой привилегии, должно казаться мне нарушением интересов моей родины, а на всякого, кто бы вздумал доказывать мне несообразность моих требований, я буду смотреть как на врага общественной безопасности. В этом выразится, во-первых, свойство моих личных требований, и, во-вторых, взгляд мой на благосостояние моей родины. Но никто, вероятно, не назовет моих требований справедливыми и взгляда моего не одобрит. Какие же требования следует считать справедливыми?



БЕЗРАБОТНЫЕ НА НИКОЛЬСКОМ РЫНКЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Гравюра с рисунка Л. П. Лебедева, 1876 г.

Исторический музей, Москва

Но прежде, нежели взяться за решение этого вопроса, припомним то, в чем мы сейчас согласились. Мы согласились, что каждый желает блага своей родине, и в то же время каждый понимает это благо по-своему, а теперь мы пришли к заключению, что то, что один считает благом, другой считает злом; а из этого следует, что самые чистосердечные патриотические действия одного могут казаться другому действиями, прямо враждебными благу отечества, и наоборот. Так, например, действия, клонящиеся к уничтожению разных монополий и привилегий, должны непременно казаться враждебными тому, кто пользуется выгодами от этих монополий и привилегий, хотя результаты таких действий будут и благотворны для отечества. К тому же обыкновенно случается так, что самые благотворные цели бывают в то же время и самые отдаленные и, следовательно, чаще всего остаются невидимыми для большинства, стремящегося к достижению только самых близких целей и к удовлетворению самых назойливых нужд. И чем правильнее и последовательнее приемы, употребляемые дальновидным патриотом, тем более подают они поводов к недоразумениям и ложным толкованиям относительно главной цели. Обвинения, в подобных случаях возводимые современниками на такого рода деятелей, имеют, по-видимому, все внешние признаки справедливости, потому что всякое коренное изменение общественного строя действительно дорого обходится современникам. Примером служит то же уничтожение привилегий.

Кроме того, обозревая всю бесконечно однообразную массу требований, из которых слагаются общественные нужды, мы видим, что понятие о благе каждого слагается из понятия о его требованиях; причем замечается такого рода последовательность: чем шире и совершеннее требования, тем шире и совершеннее и понятие о благе; т. е. чем лучше человек сознает свои собственные нужды, тем лучше сознает он и чужие. В действительной жизни, по-видимому, оказывается противное. Но это только

по-видимому. Выгоды монополиста потому только не соответствуют выгодам большинства, что требования эти, в сущности, очень ограничены и односторонни. Они клонятся только к его личному благоденствию, а из этого следует, что и понятия его о благе вообще узки и эгоистичны. Но это мало относится к делу, и тот факт, что личное понятие о благе основано на личных требованиях каждого, остается неизменным. И в самом деле, если мои требования ограничиваются заботами о насущном пропитании, то и понятия мои о благе будут вертеться только вокруг этого предмета, и я буду чувствовать себя удовлетворенным только тогда, когда обеспечу себе насущное пропитание, и все, что будет мешать мне в достижении этой цели, будет в то же время противоречить и моему понятию о благе; следовательно, благом я буду называть только то, что способствует моим выгодам. Если же требования мои такого сорта, что для моего благополучия необходимо, чтобы все люди вообще, сколько их есть, имели обеспеченное насущное пропитание, то я буду считать себя вполне удовлетворенным только тогда, когда это действительно случится, и так как в этом собственно и заключается мое личное благо, то понятно, что все мои действия будут клониться к достижению этой цели, и все, что, по моему мнению, будет противоречить этим действиям, я буду считать вредным и для меня самого, т. е. для моих личных требований.

Но приведенные сейчас примеры представляют только две крайние точки одного и того же стремления, замечаемого в каждом человеческом обществе, стремления к удовлетворению необходимых требований. Все, что заключается между этими двумя точками, соответствует тому, что обыкновенно называют развитием идеи общественного блага. По мере того как эта идея вырабатывается и совершенствуется все более и более, совершается и постепенный переход человека к освобождению его от тех местных условий, которые прикрепляли его к почве. Первоначальные, чисто органические отношения его к среде мало-помалу теряют свой первобытный, охранительный характер. Требования нарастают и осложняются, а вследствие этого является недовольство и стремление к удовлетворению новых нужд и потребностей, которые в свою очередь заставляют человека жертвовать некоторыми и даже всеми личными благами для удовлетворения других, так называемых высших требований, удовлетворение которых также необходимо для развитого человека, как насущный хлеб для неразвитого. Таким образом, понятие о личном благе из эгоистического узкого понятия постепенно и совершенно нечувствительно превращается в неизмеримо широкое и бескорыстнейшее понятие о благе всего мира.

НА ПАРАДЕ

Погода была холодная; ветер со свистом носился по Летнему саду; набегали тучи. На Царицыном лугу строились войска; с Михайловской улицы двигалась артиллерия. На самой середине плаца стояли музыканты. Из конца в конец, подобно молнии, носились адъютанты. Народ толпился около веревки, протянутой вокруг всей площади; далее, в окнах, на скамьях, на деревьях, в экипажах, на фонарных столбах и даже на крышах видны были кучки любопытных. Полиция тщетно старалась укротить народные восторги и удержать их в пределах благоразумия. Напрасно квартальные при помощи городских силлись подействовать на массу то ласкою, то угрозою. По всему видно было, что усилия останутся бесплодными. Толпа густела, волновалась и с каждою минутою все более и более теснилась к веревке. В разных местах слышался визг, глухой говор проносился в толпе, кашляли, перекликались, лошади ржали, назади закрипели подмостки, кто-то свалился: смех.

— Господа, назад-с! Позвольте, господа! Назад! Ты куда? Вот я тебя! Сделайте милость, господа! — убеждали городовые напиравшую со всех сторон толпу любопытных.

— Господа, покорнейше вас прошу! Сделайте такое ваше одолжение, посадите назад-с! — говорил городской, упираясь в живот стоящих впереди.

— Ну, чего вы не видали? Ах, боже мой! — вразумлял другой, стоя перед толпою, со сложенными на груди руками, и качая головой.



«ПОЛЬКА». ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА

Сатирический отклик на отношение царизма и реакции к освободительной борьбе польского народа

Рисунок Н. В. Иевлева. Предназначался для журнала

«Гудок», 1861—1862 гг.

Русский музей, Ленинград

«...все зависит от того — что кто называет родиною. Один, например, разумеет под этим словом все пространство удобной и неудобной земли, с пустошами и водами, обозначенное на карте генерального размежевания (...), но другой не удовлетворяется этим и простирает свои чувства еще далее на восток, до самого Чукотского носа, и на запад, за „буйную Вислу“» (Из «Петербургских заметок» Слепцова)

— Ай-ай-ай! Ах, господа!

Публика, по-видимому, устыдилась своего малодушия и, не отвечая ничего, начала смотреть в какую-то сторону.

В одном месте любопытные лезли, очертя голову, на жандармскую лошадь, так что она могла свободно махать хвостом по глазам теснившихся сзади людей. В другом месте четыре человека городских с помощью трех казаков и одного жандарма ничего не могли сделать. Публика напирала и с остервенением рвалась к веревке. Наконец, пришло подкрепление в количестве двух пеших жандармов и одного отставного солдата-любителя, изъявившего желание помогать полиции в укрощении толпы.

Отставной солдат предложил городовым и жандармам следующую остроумную меру: снимать шапки с мужиков и бросать их как можно дальше назад. Послушались солдата, и мера отчасти удалась: оставшийся без шапки, действительно, сейчас же уходил назад отыскивать ее; но после трех, четырех таких улетевших шапок, мужики ухитрились: сами сняли с себя шапки и спрятали, а другие присели. Отставной солдат очень за это рассердился и стал бранить мужиков. Тогда, после некоторого совещания, решили поступить так: взяться за руки и, устроив живую цепь, оттащить толпу подальше от веревки. Взялись за руки и стали напирать грудью и коленками на стоящих впереди женщин. Публика начала кричать.

— Не расходись, братцы, не расходись! — покрикивал товарищам один городской.

— Забирай! забирай! Справа-то осадил! Дружней! Ну-ка еще! Ну-ка, еще! Куда ты? Уйди от греха! — кричал любитель, сопя и утаптывая обратно в толпу пробравшегося вперед мальчишку.

— Вот так! — продолжал любитель, налегая грудью, — вот! Ишь ты? Хорошо! Только вот этого нужно убрать! Ну-ну-ну! Ну, еще! Раз! Подержись, братцы, подержись!..

— Смирррно!.. — вдруг прокатилось по площади — ровняйся! Ровняйся! Ровняйся! — на разные голоса стали переключаться командиры.

Все на мгновенье затихло, и вслед за этим вся толпа разом кинулась к веревке.

— Куда? куда? Ну! — отчаянно махнув руками, сказали городовые, и сами, увлеченные общим стремлением, бросились вместе с толпой вперед.

А на плацу между тем строились повзводно. Ровняясь и догоняя товарищей, заходили фланговые. Музыканты топтались на одном месте и трехаршинные тамбур-мажоры, пятясь задом и устремив глаза на адъютантов, ожидали команды.

— Шагом арш! — раздавалось откуда-то.

Музыканты заиграли, и пошли полки один за другим церемониальным маршем.

— Творец ты мой небесный! — в изумлении воскликнул купец, стоя на опрокинутом бочонке.

Движение в толпе стало понемногу утихать; каждый начинал прилаживаться к своему месту, и к окружающим; в разных местах завязались разговоры; только там и сям еще продирались любопытные, кое-где еще происходили небольшие стычки. Но задние ряды не унимались. Там все еще замечались покушения то силою, то с помощью хитрости пробраться к веревке; все еще шли распри, споры и неудовольствия как со стороны полиции, так и со стороны публики.

Один городской, несколько раз уже с успехом обращавший зрителей на путь умеренности и благоразумия и только что упорно выдержавший сильный натиск толпы, сердитый и вспотевший, стоял у фонаря и, сняв фуражку, отирал платком с лица пот. По временам из груди у него вырывались вздохи. Только что вразумленная публика безмолствовала, и лишь у некоторых невольно прорывалось неудовольствие: одни фыркали, другие ворчали:

— Свинья! Солдат! Невежа! Право, невежа! и т. д.

— Ну, ладно. Вот вы поворчите еще, поворчите!

— Это довольно даже глупо — дам не пускать, — говорила с негодованием одна дама.

— А вы бы дома сидели, коли вы умны, — отвечал ей городской.

— Что дома-то делать?

Даме, по-видимому, хотелось поговорить. Городовой ей отвечал:

— Мало что? По хозяйству заняться можно, незачем шлаться.

— Нет, я посмотрю, как бы он со мной поговорил, — хвастался между тем мужчина в длинном сюртуке и в высоком галстуке, оборачиваясь к городовому спиной и подмаргивая на него публике.

Городовой притворился, что не слышит, и продолжал свое:

— А то бы книжку взяли читать.

— Очень мне нужно книжки, — отвечала дама.

— Нет, я посмотрю, как он со мной... — уже задирающим тоном продолжал мужчина. — Посмотрю-у!

— Господа, — не слушая, говорил городовой, все более и более смягчаясь, — господа, поосадите, пожалуйста, еще немножко назад. А то что хорошего толкаться?

— А я посмотрю-у!..

Но городовой мгновенно потерял терпение и вдруг накинулся на дерзкого мужчину:

— Да что ты в самом деле? Посмотрю, посмотрю! Вот и смотри! Смотри! Смотри-и! — и, схватив его за шиворот, протолкал назад.

В публике произошло волнение: женщины стали кричать, некоторые, пользуясь смятением, успели проскользнуть вперед, к веревке. Мужчина, ошеломленный неожиданной развязкой, постоял несколько минут в замешательстве, потом начал чистить себе рукав и ворчать, сердито косясь на городского.

— Ударь! Попробуй! Ударь!

Подле Летнего сада, у самой веревки, стояли почетные зрители. Тут же было несколько дам. По лицам зрителей заметно было, что они очень устали и что им скучно. А сзади между тем ни на одну минуту не унимающаяся толпа все нет, нет да и поддаст. Зрителей это беспокоило. Они каждый раз оборачивались назад и говорили городовым:



БАЛАГАНЫ НА АДМИРАЛТЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Картина маслом К. Е. Маковского, 1868 г.

Русский музей, Ленинград

— Что же вы смотрите? А?

Городовые бросались водворять порядок, но это ни к чему не вело, потому что с одной стороны оттиснутая толпа, подобно волнам, перекатывалась в другую. Начиная двигаться, качалась, качалась, нерешительно подавалась то туда, то сюда; но движение растет, растет и вдруг вся масса хлынет в одну сторону. Вновь обеспокоенные передние зрители хмурились и злобно оборачивались к толпе.

— Да что ж это, наконец? Да уймите вы их!— кричали почетные зрители.

Впрочем, позади их стояло несколько посторонних лиц: чиновников, купцов и разночинцев. Некоторые из них, при всяком периодически повторяющемся натиске, выказывали добровольное рвение охранять передних и не допускать до них толчка; но это не совсем удавалось.

— Вы не извольте беспокоиться,— говорил один телохранитель своему патрону.— Я здесь стою-с.

— Хорошо.

— Вы извольте на меня облокотиться.

— Спасибо, спасибо,— говорил патрон.

Но в это время вдруг налетал новый прилив. Телохранитель, сбитый с ног, и сам толкнул своего патрона, восклицая:

— И что это полиция смотрит? Ах, господи!

Обеспокоенный патрон оглянулся назад и, сверкая глазами, сказал:

— Только бы мне этого мошенника увидеть, который толкает. Ведь это один балуетея.

— Это один, один кто-нибудь,— подтверждали остальные зрители.

— Эй, городской! Да поймай, братец, этого негодяя.

— Которого прикажете?

— А вот что толкается.

— Слушаю-с.

А полки всё идут, всё идут. Вслед за пехотой потянулась кавалерия, загревели сабли, засверкали каски. Солнце начало припекать. В разных местах первоначальный порядок нарушился, рвение полиции стало утомляться; какие-то интервалы, устроенные было вначале, исчезли. Некоторые зрители стали уходить. Вместо них прибывали новые. Все как-то перемешалось, только два-три человека самых отъявленных педантов-полицейских все еще продолжали приставать и угрожать публику подвинуться назад. Но и они уже, вероятно, сами начинали чувствовать, что поступают бестактно и потому начинали сердиться и без толку придирались к словам. Так, например, один ни с того, ни с другого вдруг начал кричать на какого-то мастерового. Тот ответил ему: Что ты ругаешься? Разве тебя трогают?

— А, да ты еще вздумал отвечать! Постой! Я тебя давно заметил. Кто ты таков?

— Тебе какое дело?

— Какое дело? А вот я тебе покажу. Говори, кто ты такой?

— Солдат.

— Солдат? Хорошо. Показывай билет!

— Какой тебе, дьявол, билет?

— Дьявол? Нет, я не дьявол.

— Я говорю: у дьявола билет.

— А! У дьявола билет! Пойдем в часть! и т. д.

В задних рядах было гораздо больше оживления. Там настроены были подмостки, стояли скамейки, бочки, стулья и доски на козлах; и все это было усеяно народом. Зрители, стоя на подмостках, разговаривали о всякой всячине. Внизу было очень просторно. Тут ходили разносчики с яйцами, мороженым и с разными лакомствами; дети играли и шныряли

между зрителями. Мужчины ловили за ноги дам, стоящих на бочках; дамы визжали и ругались.

— Матвей Иваныч! — перекликался один зритель с другим, стоя на разных подмостках. — А, Матвей Иваныч! Что толку стоять-то? Сбегаем, чайку попьём.

— Да уж я, брат, раза два никак бегал.

— Ну, что ж? В третий!

— Пожалуй, сбегаем. Ах, грехи тяжкие! Вы стойте здесь! — говорил, слезая, Матвей Иваныч двум женщинам, стоявшим рядом с ним на доске.

— Мы постоим, — отвечали женщины.

— Чудесная нынче погода, — говорил молодой чиновник своей соседке по доске.

— Да, погода славная. А вы зачем руками трогаете? Что это за подлость за такая? Стойте смирно.

— Вон они, фильяны-то, стоят, — показывал купец своей жене и дочери. — Молодцы!

— Нет, гарнадерам против гвардии не потрафить, — заметил кто-то.

— Где же? Одно слово — гвардия.

Однако внимание зрителей стало утомляться. Многие уже успели пообедать и в публике стало попахивать водкой. Послышались разные неожиданные восклицания, вроде того, что: Боже! Очисти мя грешного! Или кто-то начинал зевать, повторяя беспрестанно: ах ти, хти, хти!

У моста стояли денщики, держа под уздцы офицерских лошадей, около них толпилось несколько человек, в том числе кучера, конноартиллерийские кузнецы и фурштаты. Денщики гладили лошадей, подтягивали им подпруги и разговаривали между собой о подковах.

— Ишь ты, как выдергала! — говорил денщик, поправляя хвост у лошади.

— Ну, лошадь, я тебе скажу. В целой бригаде одна. Сволочь! Гляди, у ей хвост. Не подвяжи, весь выдержает.

— Что ж это она? — спрашивал другой.

— Такая уж у ей привычка. Стоит теперь в стойле, все помахивает, все помахивает. Зуда, что ли, чёрт ее знает.

— Трубочки бы покурить, — говорил со вздохом кучер.

— Что ж такое? Пойдемте вон под мост. Чудесно.

Стоящий около одного из денщиков фурштат спрашивал:

— Ну, а как же теперь сапоги, по новому положению, у вас казенные?

— У нас сапог вольный, — не глядя отвечал денщик.

— Что ж, это у вас хорошо.

— У нас, брат, я тебе скажу: свиньей надо быть, не служить. Паек я получаю, что ж мне?

— Ну, да, — раздумывая говорил фурштат.

— А по шкальчику бы теперь ничего?

— Ничего. Можно бы.

Вдруг раздалась команда: марш-марш!

Дрогнула площадь, толпа встрепенулась, и сейчас же полки стали расходиться.

<1863 г.>

Корректурные гранки. ИРЛИ, ф. 756, оп. 1, ед. хр. 250.